

РАССКАЗЫ

БИЗЕ, СЮИТА «АРЛЕЗИАНКА»

Году в 1938 на улицах Ленинграда стали рыть глубокие котлованы. Рыли их посреди проезжей части на Радищева, улице Красной Связи и кое-где еще в округе. По слухам, это рыли метро открытым способом. Котлованы отгородили от тротуаров деревянными заборами с козырьками, кое-где оставили въезды, и когда деревянные ворота раскрывали, было видно, как там копошатся люди с лопатами. Люди с лопатами были заключенными. Их привозили рано утром и увозили к вечеру. Вдоль заборов прогуливались другие люди в коверкотовых макинтошах и смотрели, чтобы к заборам никто с тротуара не подходил. Но прохожие и сами жались поближе к домам и отворачивали головы от заборов. Нас же, ребят, так и тянуло к ним. И когда «макинтошей» вблизи не было видно, мы подбегали к заборам и шли вдоль них, пытаясь разглядеть сквозь щели в шершавых досках, что же там в котловане происходит.

Как-то я застрял около одной такой щели, из нее торчала щепка. Ну, торчит и торчит, но она еще и шевелилась, вниз – вверх, вниз – вверх. Я остановился и потянул за конец щепки, но она уперлась и голос за забором приглушенно сказал:

– Возьми и позвони по телефону, там нацарапано, скажи, Адам жив и здоров.

И щепка сама просунулась ко мне. Я взял ее, сунул в карман, засвистел зачем-то мелодию Карла Бруннера и пошел сначала вдоль забора, а потом по тротуару. Сердце билось бум-бум-бум. «Макинтошей» не видно, редкие прохожие внимания не обращали. Я дошел до конца квартала, свернул налево по Маяковской, прошел по ней до керосиновой лавки, зачем-то спустился в нее, поинтересовался, есть ли фитили для семилитровой лампы, потом поднялся на тротуар и пошел в обратном направлении к дому. На углу я юркнул в парадную и через проходные дворы пришел к своему подъезду.

Нельзя сказать, что все эти действия были совершены по наитию. Уже в течение года на экраны выходили разные антифашистские фильмы: «профессор Мамлок», «Рот-фронт», но главным фильмом для нас, ребят, был «Карл Бруннер» про немецкого мальчика-антифашиста, неуловимого конспиратора, одурачивавшего гестаповских ищеек. Каждый раз, когда Карл Бруннер готовился к своему новому подвигу, в фильме звучала его боевая тема: там-там-там, та-ра –та-там. Мы думали, что это какая-то антифашистская секретная песня, потому что когда Карл Бруннер насвистывал ее, то его взрослые друзья тут же принимали меры предосторожности. Поскольку фильм смотрели все поголовно и по нескольку раз, мелодия Карла Бруннера перешла и к нам, и мы ее насвистывали как сигнал тревоги – шухер, мол, училка идет или контролер в трамвай садится, в общем, держи ухо востро.

Гестаповские ищейки в своих длиннополых прорезиненных плащах были здорово похожи на наших «макинтошей». Они так же ходили по двое, поднимая воротники и зыряя глазами по сторонам. «Макинтоши» – это были те, которые приезжали по ночам и забирали соседей, те, из-за которых в нашем классе поубавилось учеников, и чьи места за партой так и остались незанятыми. Никто не хотел на них садиться. И когда в класс пришел один новенький и плюхнулся на такое место,

ему сказали: нельзя, место занято, сюда придут. Новичок попался наглый, буркнул: еще чего, – и стал открывать портфель. Класс посмотрел на меня: я был второй по силе в нашей первой ступени, первый по силе был в параллельном классе – не звать же его. Драться я не умел, но мог поднять противника, сдавить его, чтобы кости затрещали, и кинуть на пол. Но этот бороться со мной и не собирался, а собирался драться, и он треснул меня кулаком в нос. В голове вспыхнуло, в глазах засверкали искры, по губе что-то потекло. Меня охватила ярость, я нырнул под его вторую руку, обхватил за грудь и сжал изо всех сил, придавив к парте. Что-то хрустнуло, он завыл. Я сложил его в проход, его оттащили на свободную парту. Санинструктор Лиля Медведовская промокнула мне промокашкой под носом, промокашка стала красной, тут же мне надавали еще промокашек, я сел на свою камчатку, закинув голову. Новичок сидел за своей партию скрючившись и молча переживал происшедшее. Скоро из нашего класса его перевели в параллельный. По школе висели плакаты: «В ежовых рукавицах», «Уничтожим гадину», «Покараем...», но ничего, кроме ужаса, у учеников эти плакаты не вызывали, и тщедушный, похожий на хорька Николай Иванович Ежов симпатии так и не возбуждал.

Недавно я открыл энциклопедию, поискал – Ежов Н. И., чтобы проверить дату его смерти. Нету и не было такого душегуба. Были только пустые места за партами в нашем классе.

Но вернемся к щепке. Я вытащил ее из кармана и осмотрел. С одной стороны она была гладкая и на ней было нацарапано гвоздем, а может, ногтем: «Ж 269-38 Адам жив». «Ж» – это наша некрасовская АТС. Мысль позвонить с домашнего телефона мне даже в голову не приходила. Позвонить надо с автомата, с другой АТС, но так, чтобы не успели схватить. Первая мысль была – Московский вокзал: толпа народа, все ходят туда-сюда, позвонил – и выскочил хоть в город, хоть на перрон. Но не складывалось. На вокзале до черта милиции и наверняка какой-нибудь пункт прослушки есть. Только набрал подконтрольный номер, сказал первое слово, и к тебе в будку уже бегут. А ты среди звонящих ребенок только один, остальные все взрослые, далеко не уйдешь. Значит, надо звонить оттуда, где много детей, и тут перед глазами возникла телефонная будка Дворца пионеров. Кругом одни дети – который звонил? На морде не написано, если сам не обозначишь. Я соскоблил послание со щепки, потер шкуркой, сдул крошки в окно и стал готовиться к походу во Дворец пионеров.

Во Дворец все ходили тогда как на праздник, в отглаженных пионерских галстуках, белоснежных рубашках, начищенной обуви. У входа стояли дежурные пионеры и придирчиво осматривали входящих. Неряху в мятом, заляпанном галстуке могли и завернуть. Мне эти приключения на входе были ни к чему, и я стал гладить свой маскарадный пионерский костюм. Погладил все, что мог, расчесал свою шевелюру, которая была не стрижена с зимних каникул, надраил ботинки, положил в портфель «Мифы Древней Греции» и отправился поступать в исторический кружок – если вдруг спросят. Книжки типа «Мальчик из Уржума» про Кирова, «Грач – птица весенняя» про Баумана, не говоря уж о любимом Карле Бруннере, научили меня тому, что в конспирации мелочей не бывает – все надо обдумать и предусмотреть заранее.

Во Дворце я не пошел прямо в будку, а пошатался по коридорам, списал расписание исторического кружка и вернулся в вестибюль. У автомата уже образовалась маленькая очередь, не длинная, не короткая, а так, в самый раз. За мной встала девочка с бантиками и папкой «music», наверно, из хора или с фортепьяно: будет звонить домой, чтобы ее встретили, такие, с папками, одни не ходят, но и в чужие дела не суются. А я чего в чужие дела сунулся, кто меня за нос тянул? И теперь стою здесь, как гогочка, как дурак, в наглаженном галстуке и зыркаю глазами по сторонам.

Подошла очередь, я залез в будку, положил на телефон портфель и стал его поддерживать левой рукой, перекрывая наборный диск, а правой рукой, средним

пальцем стал набирать. Тогда из-под ладошки вообще не видно, что ты там крутишь.

Раздались длинные гудки, один, другой, третий. Никто не подходит, я уже хотел бросить трубку, как в ней щелкнуло, и голос пожилой женщины спросил:

– Алло, я слушаю?

Приложив руку к трубке, я сказал:

– Адам просил передать – у него все в порядке.

В трубке было молчание, и я не знал, слушает ли она меня. Но она вдруг спросила:

– Вы его видели?

– Нет, только слышал.

– Там?

– Да.

– Господи, – сказала она, – и дети тоже.

– Мне надо идти, – сказал я, – здесь очередь.

– Я понимаю, передайте ему, что у меня все в порядке, если услышите еще раз.

Я положил трубку, потом снова снял и вытер носовым платком – она вся была мокрая, взял свой портфель с телефона-автомата и вышел. Девочка с папкой «music», входя в будку, спросила:

– Ты можешь меня подождать одну минуту?

Этого я не предусмотрел. Пока я ее жду, тут-то они и прибегут. Но можно подождать и в стороне, увижу взрослого – и скроюсь в толпе. Я кивнул ей и показал рукой на вход. Через минуту она вышла и спросила:

– Ты бы мог проводить меня до канала Грибоедова, там меня встретят?

– Хорошо, – сказал я и подумал, – вдвоем даже меньше подозрений.

По-моему, я уже начал слегка сходить с ума от этой конспирации. Звали ее Муза, и она действительно ходила в класс фортепьяно. На углу канала Грибоедова ее встретила поджарая неприветливая тетка, похожая на нашего завуча, сухо поблагодарила меня за любезность и, подхватив Музу под локоть, быстро потащила ее вдоль канала. Явно я ей был не пара. Только как она догадалась? Галстук хоть и прожженный в двух местах, но свежеглаженный, и ботинки надраены – вполне приличный молодой человек, но так и застрявший где-то в господской передней.

Пока же надо было передать Адаму, что его просьба выполнена. По крайней мере для него я был самый желанный собеседник. На другой день я нацарапал на щепке: «Адаму: передал, дома порядок». На этот раз два «макинтоша» маячили на углу, и об подойти к забору можно было и не мечтать. Наконец им надоело торчать на одном месте, и они пошли дальше. Я выскочил метров за пятьдесят от щели и засвистел мотив Карла Бруннера. Проходя мимо щели, воткнул в нее щепку и посвистел дальше. На Маяковского зашел в керосиновую лавку, купил фитиль и пошел обратно насвистывая. И вдруг из-за забора я услышал знакомый мотив, всего четыре первых такта: там-там-там, та-ра – та-там. Я дошел до щели, щепки в ней не было.

Уже в конце войны, когда все ожидали сообщений с фронта каждый час и радио никто не выключал, я услышал по тарелке знакомую мелодию. Она оказалась значительно длиннее этих нескольких тактов, развивалась, переходила в какую-то танцевальную тему, теряла свой характер грозного предупреждения и оканчивалась веселеньким тутти. Диктор сообщил: исполнялась симфоническая сюита Бизе «Арлезианка». Надо же, Жорж Бизе! А как ловко его присобачили к политическому детективу конца тридцатых годов. Вот тебе и Карл Бруннер!

Но почему-то всегда, когда я слышал потом эти зовущие звуки – там-там-там, та-ра – та-там, сердце сжималось, на глаза наворачивались слезы, и я спрашивал: «Адам, где ты, жив ли, отзовись, Адам!»

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...

«Если завтра война, если завтра в поход...» – эту песню мы все знали и по ней жили. Занятия по ПВХО – противовоздушной химической обороне – проходили регулярно и повсеместно. Названия: иприт, люизит, фосген, дифосген отскакивали от зубов. За четыре секунды мы могли надеть противогаз и за десять сложить и убрать его. Ни у кого не было сомнений, что война будет химической. На занятиях по ПВХО нам объяснили, что противогазы своего размера мы получим в первый же день войны в школе или домохозяйстве. И там, и там имелись списки детей с размерами голов для противогазов. Дети росли, размеры менялись, списки уточнялись каждый год.

22 июня было воскресенье и мой день рождения. 23-го я побежал за противогазом в школу. Она была закрыта, война почему-то началась на каникулах. В домоуправлении сказали, что никаких детских противогазов у них нет, есть только списки, а противогазы имеются только для дворников и членов добровольной дружины. Посоветовали побегать по военторгам. В военторгах пожимали плечами и посылали куда подальше.

На третий день войны я понял, что нас обманули, бросили на произвол судьбы, оставили беззащитными перед всеми этими кожно-нарывными и нервно-паралитическими. Дома я сказал, что не желаю сидеть и ждать, пока меня отравят как крысу, а хочу уехать как можно дальше. Отец возмущился и заорал:

– Жалкий трус и паникер! Как ты смеешь говорить такое! Через несколько месяцев мы их разобьем вдребезги, войдем в Германию и уничтожим фашизм!

– Как же, как же! Завоевали всю Европу и начали войну с нами для того, чтобы через несколько месяцев ты их разбил вдребезги! И чем ты их намерен разбить? Истребителями ЛАГГ из дельта-древесины против бронированных “мессершмитов-110”? Винтовками Мосина 91/30, десять прицельных выстрелов в минуту против автомата «шмайсер»? Или вашими танками КВ, про которые ты сам говорил, что они гряда металлолома и годятся только для парада?

В отличие от отца, я прошел всю финскую войну в госпиталях с ранеными – писал за них, обмороженных и обожженных, письма домой и солдатской правды наслушался на весь свой век. На фронте их кинули в лютый мороз с одними берданками под кинжальный огонь дотов линии Маннергейма, под автоматы финских кукушек. А сейчас оказалось, что и все эти бодрые марши – «будь сегодня к походу готов» – лабуда, и мы, целое поколение детей, предназначались в жертву первой же газовой атаке.

Везде было одно и то же. В эту неделю с 23 по 30 июня я потерял доверие к родному правительству раз и навсегда. И жить стало значительно легче: никаких иллюзий, никаких разочарований.

Тем временем город перестраивался на военные рельсы. Школы вновь открылись. Они проводили срочную и массовую эвакуацию детей из Ленинграда. Наша школа отправлялась в район Старой Руссы. Другие ехали под Новгород, Псков, Лугу и другие направления навстречу наступающей немецкой армии. Потом они бежали оттуда вместе с отступающей Красной Армией. А многие остались под немцем. Доходили смутные слухи, что деятели ГОРОНО, которые протестовали против вывоза детей навстречу фронту, были осуждены как трусы и паникеры. Во всяком случае, толковые мужики из завкома Кировского завода решили, что ребят они повезут на восток, и не ближе, чем на тысячу километров от Ленинграда. С этим эшелонам меня и отправили.

В своем вагоне я оказался единственным дачником, одетым в короткие штанишки, со скрипочкой под мышкой и легким детским рюкзачком. Остальные были упакованы всерьез и надолго. Многие ребята уже знали друг друга по школе, по улице, по своей Нарвской заставе. Они были коренные путиловцы. Нарвская застава была их дом родной. У них были сложные отношения с ребятами из других

районов – с Лиговки, с Обводного, с Фонтанки. Для меня они принадлежали к другому миру и говорили на другом языке. У них были свои вожди и авторитеты. Один из них, Сыроежка, занимал нижнюю полку в середине вагона. Он был на год моложе меня, маленький, щуплый, но имел уже много приводов и состоял на учете в детской комнате милиции. То, что он авторитет, стало ясно подо Мгой, когда он скомандовал:

– Сигай все сверху быстро вниз, а шумтки наверх! Во Мге будет налет!

Так и случилось. Во Мге под откосом дымились вагоны разбитого пассажирского поезда, в разные стороны расплзались уцелевшие пассажиры. Они были какие-то неправдоподобно маленькие. «Дети!» – догадались мы. Это был тоже эшелон с детьми. Наш состав медленно тянулся мимо разбитого эшелона, мимо станции, которая тоже горела. Послышался нарастающий вой, рядом что-то ухнуло, вагон качнулся, но устоял. Потом с треском в нескольких местах порвалась крыша, и в потолке появились дырки. Мы сжались от ужаса, пытались засунуть головы как можно дальше под нижние полки. Поезд нагнал, станция осталась позади, полыхая пожарами.

Постепенно мы стали вылезать из своих нор и принялись разбирать свои вещи. Кто-то вытряхнул из валенка пулю, там и сям валялись осколки, еще горячие. Я посмотрел на Сыроежку уже другими глазами. Он не казался мне уже мелким уличным хулиганом, приклатненным корешем, которых хватало и в нашем районе, а превратился в умудренного опытом решительного человека, просто очень молодого. Тогда ему было одиннадцать лет, а мне двенадцать. Но между нами была громадная разница в жизненном опыте, несоизмеримая с годами. Впервые в жизни я вплотную столкнулся с человеком другой культуры и сразу интуитивно понял, что вот в этой новой жизни его опыт и его знания стоят гораздо больше моих. И я сказал ему:

– Спасибо!

– «Спасибо» за что? – удивился он.

– Ну, вот, за все, – сказал я неопределенно. – Живы ведь все.

– Иди, иди, кочуй до Волховстроя, – буркнул он, – там тоже может начаться.

Если наши придурки намалевали красный крест на крыше, то они в него и впелят.

Но «наши придурки» не намалевали. Путиловские мужики, которые готовили эшелон, этого не допустили, и мы через два дня и две ночи благополучно дотащились до станции Антропово. Там нас ждали подводы, чтобы развезти по деревням и весям, в которых нам предстояло жить до окончания войны.

РАЗЪЕЗД ТЧАННИКОВО

К лету 1942-го мы в интернате изрядно одичали. Почти год без радио, без электричества, без книг, без вестей из дома – зато по уши ушедшие в хозяйственные заботы: дрова – на делянке повалить, навозить, напилить, наколоть, натопить; огород – вскопать, посадить, прополоть, окучить, выкопать; дом – дыры заткнуть, полы перестлать, потолок засыпать; коровы – сено накосить, ворошить, просушить, скопнить, привезти, сложить, раздать; навоз – выгрести, вывезти, складывать, разбрасывать; грибы – собирать, сушить, солить, сдавать. Кроме этого, корье драть, брусок для ружей заготовливать, шиповник собирать, лен – тереть. Зато никто уже ничем не болел. Фурункулы засохли, язвы затянулись, зубы не шатались.

Но настроение было тяжелое. От сводок Информбюро тянуло катастрофой. Южный фронт куда-то провалился, появились вторичные беженцы с Кавказа. Первый раз они бежали из Москвы и Ленинграда на Кавказ, а теперь кружным путем с Кавказа к нам на Кострому. Они бежали от немцев с нашей отступающей армией и не чувствовали, что здесь они осели надолго. Многие вторичные были сильно напуганы. Деревенские их подбадривали: «Вот уж немец придет, колхоз порушим

и всех выковыренных повесим на перёгороде». Мы-то уже год как это слышали, и на нас это перестало действовать, а вторичные прямо тряслись от страха. Тем более, некоторые из них немцев видели, и как вешают тоже знали не понаслышке.

Нас разъедала смутная тревога. Хотелось хоть на минуту вырваться из интернатской норы и посмотреть, что там снаружи. Ближайший к нам разъезд Тчанниково Северной дороги постепенно занимал все большее место в наших мыслях и разговорах. До разъезда было двенадцать вёрст, кто их считал, но деревенские начали часто там бывать. Колхозам спустили разнарядку: направлять на разъезд рабочую силу с подводами для настила новых запасных путей. Рабочая сила захватывала с собой кто бидон молока, кто пяток яиц, но самым главным продуктом оказалась вареная картошка, еще теплая, в глиняной корчаге, присыпанная укропом, с блестками льняного масла. Когда корчагу открывали, то от вида сахарной рассыпчатой картошки и от укропного запаха пассажиры эшелонов теряли рассудок и отдавали последнее. Натуральный обмен на разъезде Тчанниково развивался и приобрел масштаб большого базара на колесах. Северная дорога была одной из главных магистралей страны. С запада на восток шли санитарные поезда, эшелоны с беженцами и блокадниками, станки и оборудование разбомбленных заводов, а с востока на запад двигались эшелоны с пополнением, бесконечные составы с танками, артиллерией, ремонтными заводами, санитарным порожняком. Военные эшелоны проскакивали разъезд с ходу, а остальные застревали на разъезде на долгие часы, иногда и на дни, и для некоторых эти дни оказывались последними. Их хоронили около разъезда в поле, а по другую сторону в низине была роща, протекал ручей, значит, были дрова и вода.

Сыроежка, сговорившись с деревенскими насчет лошади, решил ехать на разъезд. Он поздравил меня:

– Лошадь дают, ты за ездового, упряжь проверь заранее, чтоб не подсунили гнилье. Девки сварят картошку, я им насыпал, малышня принесет землянику. Бабка Тупицына обещала две крынки козьей простокваши. Может, сменяем, как люди, на что-нибудь дельное. Поедем с утра, послезавтра, ты, я и братья Тихомировы.

Сыроежка поставил в известность директоршу. Она спросила:

– А зачем ехать-то?

– Так, посмотреть, что к чему, – уклончиво ответил Сыроежка. И директорша не настаивала. Она отдавала себе отчет, кто в интернате хозяин, и это ее вполне устраивало.

Накануне отъезда я задал кобыле свежего сена, утром поделился с ней пайкой хлеба, и мы потряслись, захватив с собой наши припасы, два топора, лопаты, пару досок – мостить гать через болото, если пойдет дождь. Но дождь не пошел, светило солнышко, дул ветерок, и до Тчанникова мы добрались к полудню вполне доброжелательно.

Разъезд жил своей жизнью. Не останавливаясь, проносились воинские эшелоны, на запасных путях стояли составы с беженцами и блокадниками. И тут мы впервые увидели настоящих дистрофиков. Они сидели у открытых дверей своей теплушки, смотрели на свет божий и никуда не торопились, ни за водой, ни за дровами, ни вещи менять на продукты. Да и были ли у них вещи? Сыроежка остановился как вкопанный.

– А чего же вы кипяток не поставите?

Женщина поживее других улыбнулась и спросила одними губами:

– Какой кипяток?

Сыроежка вдруг передернулся, схватился за горло и просипел:

– Живо к кобыле! Гони брательников в лес за дровами, сложи харчи в корзину и ходу сюда!

Я показал брательникам, куда нести дрова, навьючился харчами и направился к дистрофикам. Сыроежка ладил подножку, чтобы они могли спуститься. Подошли братья Тихомировы, принесли сушняка, и через несколько минут у нас запылал

костер не чета другим. Не зря мы ошивались в своем интернате № 8 Кировского завода уже целый год – научились кое-чему. Пока в котелке грелась вода, Сыроежка наладил спуск из теплушки на землю. Сам он поддерживал дистрофика наверху, братья принимали и ставили на первую ступеньку, а я забирал в охапку и ставил на землю. Не очень-то они и стояли. Седой бородатый дистрофик, поняв, кто у нас главный, спросил Сыроежку:

– Как вас зовут, товарищ?

– Сыроежка.

– А что мы будем делать, товарищ Сыроежка?

И Сыроежка важно ответил:

– Рубать будем!

– Простите?

– Ну, хавать будем, грести, уминать – харчеваться, одним словом.

Сыроежка чуть не вспотел, объясняя ему.

– Какой богатый у вас лексикон! – удивился седой.

– Сикон богатый, зато харч бедный. Садитесь вокруг костра!

Среди них был мальчик. Такой прозрачный мальчик. Его мать все беспокоилась:

– Осторожно с Мишей! Не выдерните ему руку! Ставьте его не сразу. Ставил его я, постепенно, и все удивлялся, до чего же он легкий.

Сыроежка все же цыкнул на меня:

– Держи слободнее, под микитки! Вишь, он как статуя алебастрный, разобьешь!

Это было уже на деревенском языке, а не на путиловском жаргоне. За год у нас у всех язык изменился. Мы стали говорить «полноко», «да пошто», «робота» и уже почти не отличались по говору от местных. А как бы нас еще понимали люди и животные? Как бы вы хотели чтобы я разговаривал с кобылой Мухой или соседским Полканом? Но здесь нашим дистрофикам пришлось за минуты освоить то, на что у нас ушли долгие месяцы.

Они послушно сели вокруг костра с кипящим котелком. Под Мишу мы подсунули охапку мухиного сена, чтоб не сидел на рельсе, и Сыроежка открыл крышку корчаги. Дальше была немая сцена « Блокадники смотрят на горшок с картошкой». Из корчаги шёл такой дух, картошка имела такой вид, что ни одно произведение искусства не могло бы его перешибить. Дистрофики, как зачарованные, смотрели в корчагу и вдыхали ее аромат.

Только один Миша оставался безучастным и от картошки отказался. Сыроежка молча посмотрел на него, раздал всем по две картофелины, закрыл корчагу, сбросил в кружки понемногу простокваши и начал вежливо расспрашивать, кто куда едет. Миша с мамашей ехали в Молотов. Он учился играть на скрипке и собирался там продолжать. Седой был их родственник, какой-то ученый профессор. Сыроежка это сразу понял, видя, как тот ничего не умеет. Остальные добирались до Урала к своим заводам. Я спросил Мишу:

– Ты что играешь?

Миша помялся немножко, как бы ответить попонятней, и сказал:

– Концерт Мендельсона.

Я всю жизнь хотел сыграть концерт Мендельсона, но до войны у меня не хватало техники, а после войны об этом можно было уже и не мечтать.

– Вот этот? Си-си-си, соль-ми-ми-си, соль-фа диез-ми-до-ми-си?

Мишина мамаша вздрогнула и уставилась в меня.

– Какое фа диез, откуда?

Она посмотрела на наши лапти-ступни, безразмерные полосатые порты, пошитые из интернатских портьер, на стриженные «под ноль» головы. Я подумал:

– Действительно, откуда?

Но Миша вдруг тихо сказал:

– Там в третьем такте фа диез на квинте.

– Вы что, играете на скрипке? – спросила мамаша.
– Он хорошо играет, – авторитетно заявил Сыроежка. – «Хасбулат удалой», «Раскинулось море широко», «Мурку» на бис. И ты сыграй, – обратился он к Мише, – руками помашешь – есть захочешь.

– Сыграй, сыграй, Миша, – встрял профессор, вот и товарищ Сыроежка просит.
– Сыграй, – тихо попросила мама.

Миша поднялся со своего сена, как птенец из гнезда, и попросил:

– Принесите мне, пожалуйста, скрипку из вагона.

Я слетал в теплушку и принес ему скрипку в дорогом полированном футляре. Он достал ее, отошел на пару шагов в сторону, стал настраивать. Уже по первым звукам я понял, что сейчас мы услышим нечто.

Миша вернулся, положил скрипку на свою острую ключицу, поднял смычок, закрыл глаза, и ... полились дивные звуки концерта Мендельсона: си-си-си...

Люди у соседних костров стали подниматься и подходить к нам, осторожно ступая по шпалам, чтобы не скрипеть щербнем под ногами. Когда Миша кончил первую часть, никто не шевельнулся, не проронил ни слова. Сыроежка прочистил горло и сказал басом.

– Здорово играешь, забирает!

И тогда все зашевелились, захлопали в ладоши. Миша поклонился и начал укладывать свою скрипку.

– Там картошки не осталось? – спросил он Сыроежку.

– Осталось, осталось! – торжествуя заорал Сыроежка и выкатил со дна корчаги последние три картофелины. – Ешь, только осторожно, а то подавишься, – протянул он Мише миску.

И все стали смотреть, как Миша потихоньку кусает рассыпчатую картошку, подбывая крошки ладонью. Его мама улыбалась, вытирая слезы.

– Теперь доедешь, – рассудительно сказал Сыроежка, – теперь начнешь есть. Он полез в корзину и вытащил туесок с земляникой, отдал его мамаше и наказал:

– Будете давать ему по ложечке, а не то – понесет.

– Да-да, только по ложечке, – подтвердил профессор, я послежу, товарищ Сыроежка.

А товарищ Сыроежка, ощущая свалившуюся на него ответственность, осмотрел всех подряд и объявил:

– Сейчас будем мыться! Поди, с осени не мылись. Брательники, за водой! Ты задай кобыле сена, а я управлюсь с костром.

Потом они все у нас мылись и вместо серо-зеленых оказались бело-голубые. Мишу мы мыли сами, горячей воды не жалели и даже похлестали слегка свежим березовым веником, пока он не порозовел.

– Ты не расстраивайся, – говорил мне Миша, – ты еще сыграешь концерт Мендельсона.

– Какой там Мендельсон, – ответил я, – посмотри на мои руки. Я показал ему свои обмороженные, вечно красные лапы со шрамами, мозолями и ссадинами.

– Да, – протянул он неуверенно, – все равно, будешь ходить в филармонию. Мы еще увидимся после войны.

Уезжали мы от них уже к вечеру. На прощание нам подарили несколько коробков спичек и пачку «Беломора». Когда мы проехали болотину и выехали на ровное место, я бросил вожжи, мы повалились на дно телеги и закурили «Беломор». В голове закружилось, звезды поплыли, Муха перебирала ногами к дому, а Сыроежка рассуждал:

– Танков, видел, сколько прошло? Этот наши, кировские, и блокадники скоро к станкам встанут, еще больше наклепают. Не бластит им здесь немцев дожидаться.

По приезде директорша зашла к нам в дом и спросила:

– Ну, как там? Что к чему, выяснили?

– Брательники промолчали, а Сыроежка ответил:

– Нормально, терпение только надо иметь. Зиму-другую мы здесь еще прокочуем, а там по домам.

Как всегда, Сыроежка оказался прав.

КОМИССИЯ

По сравнению с антроповским замордованным интернатом наш степинский был просто махновская вольница «Гуляй-поле». Правда, слишком много поля и слишком мало «гуляй».

Когда комиссия по проверке идейно-воспитательной работы приехала к нам из Антропова, то у нее сразу же мозги набекрень поехали. Вместо заискивающих изможденных детдомовцев они увидели банду малолетних головорезов. Вместо красных пионерских галстуков на наших черных шеях болтались массивные оловянные кастеты с зубьями и без. Мы их отливали в кузне в формах из брюквы. Каждый по своему вкусу. Некоторые имели по два кастета. Так сказать, парадный и повседневный. На поясе у каждого в ножнах висела финка. Неважно, что финка была из расклепанного гвоздя, а ножны из бересты – все равно это было грозное оружие. А у Сыроежки это была настоящая финка в настоящих ножнах. В окрестных деревнях уже было хорошо известно, что и кастеты, и ножи у интернатских не «для блезиру». Они давали нам чувство уверенности, а деревенским постепенно внушили уважение. У комиссии же возникли совершенно другие чувства.

Комиссию возглавляла ленинградская училка из больших начальниц. Звали ее Ольга Ольдерогге. Она приходилась то ли сестрой, то ли женой знаменитому ученому. По приезду она собиралась сразу же дать взбучку нашей директорше. Но наша тоже была «не в поле обсевок». Ее муж был видный танковый конструктор на Кировском заводе, и на разных заполошенных гороновских теток она плевать хотела. Так она этой Ольдерогге и сказала:

– Вы приехали – и занимайтесь своими делами, а у меня свои дела с колхозным быком.

Она еще надеялась уговорить быка обиходить нашу Майку и обеспечить нас молоком весной. Мы дружно пожелали ей успеха и повернулись к комиссии. Ольдерогге была тетка злющая, носила пенсне, и понятно, что прозвище у нее было «Кобра». Она посмотрела на нас, безошибочно выбрала Пету Маськова, у которого была физиономия менее злобная, чем у остальных, и велела:

– Позовите всех школьников в ваш дом, и поживее.

Пета рванул в соседнюю избу и заорал:

– Все школьники, к нам на собрание, быстро! Из Антропова Кобра приехала – рыло чистить!

Пока народ собирался, Кобра осмотрела нашу избу.

– Просторно живете, – сказала она с завистью.

В Антропове спали на сплошных двухярусных нарах, а мы располагались на топчанах, которые сколотили под руководством дедушки Тупицына. Дедушка учил нас, что топчаны должны быть на вырост. «Года за четыре вы воон как вымахаете!» Он полагал, что раз первая война с германцем была четыре года, то и на эту уйдет не меньше. Каждый еще сколотил себе прикроватную тумбочку, а у братьев Тихомировых был цельный шкаф. Кобра сразу же шаст в шкаф, и на нее посыпались с полки репа, морковь, лук и другие сельхозпродукты, принесенные с колхозного и личных огородов. Кобра поставила эти овощи на стол, села на лавку, рассдила остальных двух теток по обе стороны от себя и объявила собрание открытым.

– Кто у нас председатель совета отряда? – спросила она.

Мы недоуменно переглянулись. Многие уже забыли, что это такое. А некоторые, которые проросли из малышей уже тут, и слыхом не слыхали.

– Так кто же у нас самый главный? – повторила Кобра.

Подхалим Пета Маськов неуверенно спросил:

– Неужели товарищ Сталин?

Мы думали, что Кобра взорвется и разлетится на куски. Пенсне у нее слетело, она его судорожно поймала, пытаюсь водрузить на нос, но оно снова соскочило. Малыши заржали, подумали: тетя приехала их повеселить, и приготовились к новым фокусам.

– Ну хорошо, то есть плохо. Просто отвратительно! Тогда ответьте, кто у вас тут старший!

Мы снова переглянулись, и кто-то спросил:

– Старший – это как, по возрасту? Тогда это Аркадий. Он пошел с директоршей к быку, корову случать. Тут уже прыснули наши девицы.

– Молчать! – взвизгнула Кобра. – Я вас спрашиваю, тут есть кто-нибудь главный, с кем можно разговаривать?

И мы дружно закричали:

– Есть! Есть! Сыроежка!

– Покажитесь, Сыроежкин, – сказала Кобра, – как вас зовут?

Сыроежка поднялся с топчана и сказал:

– Сыроежка – так и зовут.

– Хорошо, – сказала Кобра, – так и запишем, – Сыроежка Сыроежкин.

Она уже внутренне подломилась и готова была к компромиссу.

– Скажите мне, Сыроежка, – что это у вас на шеях висит? Тотемы, амулеты, обереги?

Сыроежка захлопал глазами, а отличница и выскочка Галя Бельшева радостно подтвердила:

– Это обереги!

Кобра примирительно спросила:

– И как они, действуют?

– Еще как действуют, – расхрабрилась Галя, – как эти пристанут, или начнут выё... – тут Галя сгоряча брякнула, что именно они начнут, – так наши этими самими оберегами их по соплям – очень хорошо оберегает!

Комиссия застыла вновь в состоянии полного изумления. Очнувшись, Кобра решила не заостряться и сменила тему:

– А вот эти овощи – откуда эти овощи у вас?

– Мы их спи...

Но тут Гале кто-то закрыл рот ладошкой, а Сыроежка взял инициативу в свои руки:

– Овощи мы собрали на воскреснике.

– И положили к себе в шкафчик, – ехидно добавила Кобра, – утаили от Красной Армии. Разве эта брюква, – и она взяла какой-то корнеплод со стола и показала его нам, – теперь будет бить по врагу?

Кто-то мрачно заметил:

– Это репа.

– Тем более, – разозлилась Кобра, – разве эта репа будет бить по врагу?

Мы посмотрели на репу и представили себе, как она может бить по врагу. Из рогатки, что ли? Я вспомнил картину из Эрмитажа «Давид и Голиаф» – Давид с пращей и Голиаф с дыркой во лбу. Если вместо камня засобачить репой? Давид с репой и Голиаф. Нет, пожалуй репа не будет бить по врагу, а эта и подавно. Мы же ее съедем сегодня вечером.

И как бы угадав ход моих мыслей, Кобра продолжила:

– Вместо того чтобы отправить все эти овощи на фронт или в тыл рабочим танковых заводов, вы просто украли их, чтобы самим сожрать. А разве эта луковица будет бить по врагу?

Вместо сомнительного корнеплода она взяла и подняла большую золотистую луковицу. И тут Сыроежка, которому вся эта бодяга уже давно надоела, сказал веско:

– Будет!

– Как это, как это? – сбилась со своего прокурорского тона Кобра.

– А так, – сказал Сыроежка, – что когда батя узнает, что я эту луковицу схавал и у меня цинга прошла, а ее батя, – ткнул он в Галю, – что у его дочки на морде фурункулы засохли после этого воскресника, то у них сразу боевой дух поднимется, и они этих танков еще дюжину наклепают. Пусть лучше мы все это съедем себе на здоровье, чем оно под снег пойдет и сгниет.

В 42-м году, когда за собранные в поле колоски можно было и срок получить, такое заявление звучало более чем смело. Члены комиссии переглянулись. Кобра спросила:

– Тебе сколько лет, Сыроежка?

– Двенадцать.

– Думай, что говоришь! Если бы тебе было четырнадцать, тогда бы с тобой в другом месте поговорили.

– В другом месте я и в одиннадцать наговорился, – огрызнулся Сыроежка.

Кобра встала и, обратившись к комиссии, подвела итог:

– Ну что же, надеюсь, товарищам всё ясно. По воспитательной работе у меня вопросов больше нет. Какие другие вопросы будут у комиссии?

Тогда одна пожилая тетка, докторша из местных, спросила:

– Как у вас с педикулёзом? Мальчики, я смотрю, все стриженные, а у девочек?

– Нет у нас педикулёза, – снова выскочила Галя Бельшева, – понос бывает, а педикулеза нет, мы его изжили.

И это была правда. Мы его изжили, так же, как изжили фурункулёз, цингу и чесотку. В это время в избу вошел Аркадий, мы все рванулись к нему. Сыроежка спросил:

– Ну, как?

Аркадий, отдуваясь, ответил:

Ну и умаялся же я! Взял со стола луковицу, откусил половину, захрустел.

– Черт с тобой, что ты умаялся! А бык как?

– Бык тоже умаялся, сейчас отдыхает.

– Ну, не тяни жилы, – рявкнул на него Сыроежка.

– Огулял! – торжественно провозгласил Аркадий. И мы, как сумашедшие, заорали:

– Ура!!

И повалили из избы, сшибая комиссию. На радостях директорша пригласила комиссию пообедать, а мне велела задать ихней лошади сена. Я и им сена подложил под их тощие зады, в бричку. Сухо прощаясь, Кобра спросила меня:

– Вы, кажется, из интеллигентной семьи? Как вас здесь, не трэтируют? Не хотите в Антропово перевестись?

Прокрутив в голове варианты ответов, я выбрал самый дипломатичный и сказал:

– В гробу я видал ваше Антропово – у нас веселей.

Докторша хлестнула кобылу, и они укатили, скрывшись за бугром. Больше мы их не видели.

Корова Майка стала всеобщей любимицей. Каждый, возвращаясь с полей, нес ей самую сочную охাপку клевера. Ее стойло выгребали и чистили по два раза на день, а когда родился теленок, его поместили в столовую в теплый угол, огородили ему место, и он мычал басом каждый раз, когда мы приходили обедать.

Когда директорше надоело предупреждать всех, как надо себя с ним вести, она написала на картонке: *Теленка в морду не целовать*, и прибила к загородке. Так табличка и провисела у нас в столовой, пока теленок не вымахал в здорового бычка. Имя ему само напрашивалось – *Выковыренник*, или, сокращенно, *Выря*. Когда его повезли в Антропово сдавать на мясо, меня уже в интернате не было, а Аркадия еще раньше забрали в пехотное училище.